

НЕВСКИЙ СПЛИН

РАССКАЗ

Насте

J. P. Chenet... Виноградники южной Франции... Год сбора урожая – 2002-й... Вкус?.. Хм... Генка сказал бы: так себе... А мне кажется – вполне прилично... И бутылка забавная – снизу пузатая, а горловина, посмотри-ка, вытянута, да еще и с элегантно кривизной: словно гарантия легкого опьянения...

Жаль, ты ничего не понимаешь в красном вине. Я тоже, признаться, мало толку в нем знаю. Вот Генка – он знает. Или умеет делать вид... Я тебе рассказывал, как мы с ним ходили в итальянский ресторан? Это когда он в командировке здесь был. Пригласил меня поужинать – да не в рядовой ресторанчик, какие на каждом шагу в Мюнхене, а в небольшое заведение, о котором он в путеводителе вычитал – «с особенно изысканным выбором вин и блюд итальянской кухни».

Видела бы ты, как он просматривал карту вин. Словно держал в руках забытую записную книжку с именами любимых женщин: улыбался, головой кивал, языком тихонько цокал, один раз застонал и только дважды вопросительно передернул плечами. Наконец, заказал бутылку – евро за пятьдесят-шестьдесят, а то и дороже. Представляешь? Деньги девать некуда или апломб дороже денег... И вот ее принесли. И тут началось.

«Синьор...» – официант показывает бутылку.

Генка неторопливо читает с этикетки вслух, в каком году изготовлено вино, затем делает одобрительный жест.

«Синьор...» – по выражению лица и интонации заметно, что официант рад видеть перед собой тонкого ценителя.

«Запомни этот год, – наставляет меня Генка. – За последнее пятилетие он был самым удачным для виноделия».

«Синьор...» – официант протягивает чуть наполненный бокал.

Геннадий Витальевич (Генкой его в этот момент называть уже не решаюсь) медленно отводит руку в сторону, бокал чуть наклонен, он держит его за длинную ножку, не касаясь пальцами дна, – любуется цветовой гаммой, потом слегка взбалтывает содержимое и приближает бокал к губам, это обратное движение он совершает чуть быстрее, словно пытаясь всколыхнуть застоявшийся вокруг воздух, чтобы в его освеженном потоке еще до глотка втянуть в себя легкий аромат вина...

«Синьор...» – официант почтительно прижимает правую руку с накрахмаленной салфеткой к груди.

Даже мне становится не по себе, и я заворожено смотрю, как Геннадий Витальевич делает, наконец, глоток, выдерживает маленькую задумчивую паузу – не больше и не меньше необходимого. Легкий выдох... Я машинально сглатываю слюну. Одобрительный кивок... Я спохватываюсь, что сию секунду спутулившись, и поспешно расправляю плечи. Бокал медленно опускается на стол...

«Синьоры...» – официант наполняет наши бокалы: чуть меньше половины – и с достоинством удаляется. У них в заведении редко встречаются случайные посетители...

Ритуал... За пятьдесят-шестьдесят евро... На эти деньги ящик *J. P. Chenet* можно купить! Представляешь? Минимум двадцать бутылок!.. Ах, тебе все равно, ты ведь не пьешь... Только снисходительно смотришь, слушаешь, иногда дремлешь под мою болтовню – я ведь вижу... Ах ты милая моя... единственная... Сейчас мы музыку включим – негромко...

Хорошее, кстати, оказалось вино. И цена не кусается. Сделано из двух сортов винограда: *Cabernet* и *Syrah*. Видишь, что тут написано: рекомендуется к жареному мясу или сыру, температура при сервировке 15 – 16 градусов. Что еще нужно?

Да будь у меня лишние деньги, все равно не стал бы следовать Генкиному правилу: ниже двенадцати евро за бутылку ни в коем случае не опускаться. Ну... у него высокооплачиваемая работа, бизнес какой-то, заграничные командировки... Да и позерства новорусского, с которым теперь многие на Запад приезжают, ему не занимать: требуют всего самого дорогого и расплачиваться любят крупными купюрами... А когда он студентом был, «Совиньоном» советского пошиба за рубль двенадцать копеек с приятелями обходился.

Впрочем, не знаю. Он ведь в Москве учился, я в Ленинграде, мы с ним позже познакомились. Теперь он уже давно живет в Петербурге и разъезжает по всему миру. И ниже двенадцати евро не опускается.

А я на отметочке в две с половиной европейских монеты балансирую, хотя тоже, кстати, в бурге живу, да не в псевдоевропейском, а в настоящем – в самом предгорье Альп, в старинном Бурге Неизвестного Монаха.

Что ты так на меня посмотрела? Не знаешь разве, что обитали тут на берегу Изара божьи люди, а рядом с ними городишко приютился – *при монахах*, так и получилось с их немецком: Мюнхен. И никакого тебе окна в Европу, потому как Европа – и слева, и справа, и сзади, и наискосок, и по ту сторону тоже Европа. И никакой сверхгосударственной идеи и принуждения... А всего лишь соляной перекресток и товарообменное дружелюбие: одним соль альпийская – “*gerne*“, другим хлеба с плодородных полей – “*danke schön*“¹, ну и вино, конечно, – это итальянцы первыми подсуетились. Рынок, одним словом, а вокруг домики, как грибочки, стали расти. Монахи на заезжих виноторговцев посматривают и посмеиваются, у них свое сусло в подвалах бродит, солодовое. Попивают себе пивко – и в окошко городком растущим любуются. Знают – не нужно местному человеку завозного вина, коли пивное дело у них так славно налажено...

А я человек не местный, заезжий, и хоть от пива не отказываюсь, но предпочитаю вино. Пива хорошо выпить не больше стакана, иначе мозги ватными становятся, ленивыми. В больших количествах оно подходит для веселья, для шумной компании. И только «под винцо» можно провести спокойный вечер. Знаешь, как две стареющие подружки – посидят, поплачутся под рюмочку друг другу на судьбу-злодейку и на прощание скажут: «*душевно* посидели», а то и «*душевненько*»... М-да... смешно и грустно... У нас с тобой это все-таки иначе – с таким, я бы позволил себе выразиться, интеллектуально-философским оттенком... неправда? Ладно, не смотри на меня так – знаешь же, что люблю порой состояние духа высоким слогом обозначить. Ну и что, если иногда и напиваюсь... Не каждый же раз... И потом... это не так легко... В этом деле, понимаешь, пограничная полосочка есть – такая узенькая, незаметная: чуть забудешься, увлечешься, и вот ты уже в других координатах, и назад пути не найти. А там тоже интересно, потому что все смещается – белое начинает буреть, грустное вызывать смех, случайное будить скорбь или разжигать глубокую обиду, там даже буквы меняются местами, и

¹ Соотв.: охотно, с удовольствием и большое спасибо (нем.) – Ред.

латинская *v*, стоящая почти в конце алфавита, уступает место находящейся далеко впереди букве *f*. И тогда вместо *in vino veritas* к концу второй бутылки мы получаем *in vino feritas*²...

Ах, не пьянством и велеречием грешен, а склонностью к раздумьям... Вино и вправду помогает собраться с мыслями. И скажу тебе по секрету: качество его не так уж и важно. Совсем дрянь пить, конечно, не буду – потом только изжога замучит, но недорогие вина массового производства, поверь мне, вполне пригодны. Ведь не от вкуса удовольствие получаем, а от *ри-ту-ала*. Для Генки это – ресторанная атмосфера, а для меня... Ах, мне просто нравится сидеть в этом кресле перед журнальным столиком при мягком свете торшера... Там, в полумраке – книжные полки, и негромко звучит музыка... Бокал? Предпочитаю круглый из прозрачного стекла, и чтобы ножка длинная... Некоторые, конечно, из стаканов пьют – и ничего им, но это все фармазоны... Как – кто такие? Страшные люди! *Он фармазон; он пьет одно стаканом красное вино...* И представь себе: *Он дамам к ручке не подходит...* А мы не будем обижать дам и останемся верны элегантному фужеру. Добавим к этому тарелку с ломтиками сыра, салфетку... Что еще?... Ну и, конечно, – рядом должна быть ты... Иногда мы отключаем телефон, чтобы никто нас не беспокоил. Я ведь не всегда столь болтлив – правда? И тогда весь вечер у нас звучит только музыка. Все должно быть сбалансировано: настроение, вино, атмосфера... А если одна из составляющих выпадает, то и вечер проходит по-другому – с книгой, прогулкой или, на худой конец, у телевизора.

А они, мои новые соотечественники, пусть себе сидят по кнайпам и биргартенам³, пьют пиво литровыми кружками – одну за другой, и расппевают свои любимые куплеты:

В Мюн-хене стоит Хоф-брой-хаус –
Раз, два, вы-пил!
Там льет-ся из бочо-он-ков –
Раз, два, вы-пил!⁴

А мы тут, под торшером, тихо... под классическую музыку...

Я пью небольшими глотками. Когда подношу бокал к губам, вижу на поверхности вина отражения – вот мелькнул краешек торшерного абажура, скользнул луч от лампы... при желании можно увидеть свое лицо. В вино вообще нужно смотреться, как в зеркало – время от времени... Это важно, поверь... В пиве себя можно только утопить. Что может там отразиться поверх пены?

Тут и в Изаре ничего не отражается. И знаешь, почему? Потому что река протекает, как поросшая кустами по берегам канава, – сама по себе, и к городу никакого отношения не имеет. Это там, в Питере, река и город слились в неделимое... И все, что происходит в том городе, отражается в полноводной, разветвленной в своей дельте на множество рукавов реке. Зеркала в гранитном обрамлении... *Невы державное течение...* Ты не поверишь, но ширина реки напротив Зимнего дворца намного превышает километр. Это тебе не Изар... Иностранец, попадавший еще во времена Пушкина на берег Невы и на соразмерные ей петербургские площади, сразу понимал, что за этим городом лежат огромные пространства империи.

Ах, разве мог бы Растрелли построить на берегу Изара такой императорский дворец, как на Неве? А что делал бы в городке неизвестного монаха бедный Рос-

² Созвучные латинские пословицы: «Истина в вине» и «В вине дикость» – Ред.

³ Кнейре, Biergarten – соотв.: пивная, пивной ресторан под открытым небом (нем.) – Ред.

⁴ Из известной застольной песни: «In Mün-chen steht ein Hof-bräu-haus, eins, zwei, g'ssuf-fa. Da läuft so man-cher Fäss-chen aus, eins, zwei, g'ssuf-fa...» (нем., баварский) – Ред.

си, которому сама идея простора и соразмерности частей во многом подсказана Невой – ее размахом, игрой света, игрой отражений. Когда мюнхенский Кленце в расцвете своей славы был приглашен в Петербург, ему ничего не оставалось, как на задворках одного из российских ансамблей пристроить здание Нового Эрмитажа. И если бы не украшающие подъезд огромные фигуры атлантов, это здание никто бы и не замечал. Так-то.

Я, конечно, не без улыбки вспоминаю поэта Батюшкова, который под впечатлением победы над Наполеоном писал о том, что «цену Петербурга» можно понять тогда, когда увидишь «ветхий Париж и закопченный Лондон». Но полностью разделяю и принимаю его восторженное восклицание: «Единственный город!..» Строившийся изначально как великое подражание, сотканный из множества привнесенных элементов, Питер, несмотря ни на что, оказался не слепком, а уникальным творением... И обрати внимание: все это только благодаря чухонке Неве. Властная дама... с норовом... Все себе подчинила. Сыграла, как это смешно говорится в ученых книжках, *градообразующую* роль. Петр задумывал столицу на море, а получил город на Неве. И что ты думаешь? За целых три столетия там так и не смогли построить ни одной морской набережной. На Васильевском давным-давно начали что-то ковырять, но и до сих пор разве только собак там выгуливать можно...

Собаки пусть не обижаются, но этот бокал я поднимаю за Ее Величество Неву...

А Есенин взял и плюнул в ту реку. Остановился на Симеоновском мосту, посмотрел вниз на Фонтанку и плюнул – не стеснясь окружающих. Собой ли остался недоволен, или открылось ему что-то тягостное... Я очень даже верю, что там, в воде, как в живом зеркале, можно многое увидеть... Как в вине...

Что? Откуда я это знаю – про Есенина? Вычитал где-то, или Анечка рассказывала. До знакомства с ней город представлялся мне не более как чередой тянувшихся в разные концы улиц, известным набором исторических зданий, ну и – сеть трамвайных линий, веток метро... Немного истории, немного литературы, но все это было мало привязано к улицам, домам... Двигаешься, словно по карте маршрутов общественного транспорта. А с Анечкой... как бы тебе сказать... город стал иначе раскрываться, у него появилось другое измерение... Ну вот, послушай, например... У того же Симеоновского моста со стороны цирка ныряешь на набережной под широкую листву – справа дома в воде плывут: портики с надтреснутыми краями, колонны с размытыми очертаниями... И вдруг слева чуть впереди – пушечный выстрел, негромкий; вахта Михайловского замка салютует императору... Он уже давно мертв, задушен, забит в собственных покоях... А пушка салютует... Может быть, его тени... *Пустынный памятник тирана, забвенью брошенный дворец...* И Достоевский, совсем еще молодой, словно Гамлет в известной сцене, стоит в одном из сумеречных замковых переходов. «Россию любить надобно, – говорит ему Павел. – Матушка ее не любила. Из чванства правила. Петр ее любил». – «Человека любить надо», – осмеливается ответить Достоевский. «На каторгу пойдешь, – тихо продолжает царь. – Страдание тебе познать нужно...» И снова салютует вахта, и в смене декораций мелькают пушкинские кудри. Там, напротив, в доме, отражение которого колыхается в воде, словно привязанная к набережной лодка, он чувствует себя задетым, уязвленным покровительственным тоном *старших*. «Лицейский пленец», – представляет его очередному гостю хозяин дома Николай Тургенев. И вот уже жирный господин, вытирающий платком испарину, спешит облагодетельствовать: «Наслышан, наслышан... Подаете надежды... в дядюшку-стихотворца, Бог-то даст...» И только Жуковский в углу чуть заметно ухмыляется... «А на каторгу непременно?» – глядя в пустоту, бормочет на другом берегу реки Достоевский...

Старенький автобус кряхтит, переваливается через Фонтанку по Пантелеймоновскому мосту. Анечка в длинном зеленоватом плаще, перехваченном пояском

на тонкой талии, чуть покачиваясь на острых каблучках, с микрофоном в руке стоит в проходе. Мы с Генкой сидим в третьем ряду. Кажется, он равнодушно смотрит по сторонам и совсем не интересуется Анечкой. Она – дочь знакомых его родителей, которые и наказали ему побывать на ее экскурсии: «Девочка умная, дочь Эдуарда Николаевича и Маргариты Павловны, из хорошей семьи». Сами они считались важными людьми в Москве, а Анечкины родители принадлежали к тому же партийно-научному клану в Ленинграде. Генке тогда на все это было наплевать. А может, и знал уже, что карьера и жена «из хорошей семьи» ему обеспечены – семейными традициями и домашними же связями, и пока просто гулял, неторопливо собирал материалы для диссертации, внушал родителям, что просиживает вечера в Ленинке, а сам...

Неплохое все-таки вино... Только когда слишком увлекаешься разговором, перестаешь замечать вкус... Нужно делать паузы. Я всего лишь дилетант в этом деле, но пытаюсь, хотя бы до половины бутылки, не опускать, как говорится, искусства до ремесла. Знаешь, тут все важно: глаза должны видеть цвет напитка, рука ощущать форму бокала, обоняние... С заложенным носом пить вино вообще не рекомендуется... *Cabernet-Syrah*... Виноградная лоза с капельками росы... В прошлый раз я пил *Merlot*. Цвет у него был, пожалуй, более насыщенный, тоже рубиновый... Терпкость другая... И ни в коем случае нельзя сразу есть сыр. С началом глотка лучше чуть прикрыть веки, попытаться отрешиться от окружающих предметов, расслабиться... Маленькая медитация с мотивом виноградной лозы. Ну а потом уже можно потянуться за ломтиком сыра. И не торопясь снова вернуться к размышлениям или прерванной беседе.

Где мы оставили Генку? В Ленинке? Ха! Чаще его можно было застать вечерами на койке в одном из женских строительных общежитий. Кажется, ее звали Валентиной. «Представляешь, что будет, если мать проведает, – без особых, впрочем, эмоций сетовал он. – С лимитчицей связался! Аспирант из хорошей семьи!»

И в Питере на Анечкину экскурсию поплелся он без интереса, только чтобы родители отвязались. И меня для компании прихватил. И тут...

«Осторожно, листопад!»

Ты не знаешь, кому предназначались те предупреждения на перекрестках – трамваям или пешеходам? Ах, откуда тебе знать! Вывешивались они осенью в темно-зеленых будках, там внутри сидели скучающие женщины и время от времени кнопками переключали трамвайные стрелки, а если кнопочки не срабатывали, они выскакивали из будок с ломиками в руках и переводили рельсы вручную. А за стеклом в будках таблички висели: «Осторожно, листопад!» Может, они автомобилистов предупреждали, чтобы заранее притормаживали перед трамвайной остановкой? Трогательно, правда?..

Сейчас мне кажется, что в тот год их специально для меня повсюду развесили: позади осталось суетливое, но, в общем-то, пустое лето (рутинное хождение на работу, по выходным шашлыки на дачах у друзей, два-три случайных поцелуя), уже появлялось тоскливое предчувствие долгой зимней спячки, и тут вдруг – *унылая пора, очей очарованье...* Пик золотой осени и последняя надежда: что-то еще может сдвинуться с мертвой точки, вокруг которой кольцом сжалось мое одиночество. Опасное время... Может ведь сдвинуться так, что и сам рад не будешь...

Сдвинулось. Я влюбился – сразу и по уши. Безответно и навсегда.

Все! Пауза. Медитация... Виноградная лоза, искрящаяся капельками росы...

Итак, автобус переваливается через Фонтанку по Пантелеймоновскому мосту. Анечка, чуть покачиваясь на острых каблучках, с микрофоном в руке стоит в проходе. Генка смотрит куда-то в сторону, я слушаю Анечкин рассказ и вслед за движени-

ем ее руки оборачиваюсь к Летнему саду. В памяти всплывает затерявшееся: *пышное природы увяданье...* Я толкаю Генку в бок – Летний сад! Он послушно оборачивается и кивает головой – неплохо...

Мог я ли тогда себе представить, что три года спустя мы с Анечкой, грустные, почти без слов, будем идти по тому же саду, присыпанному первым рыхлым снегом, и у нее вырвется: «Неужели ты сможешь *отсюда* уехать?»

К тому времени этот маршрут стал одним из наших любимых: мы встречались на Невском возле метро – на мостике у Дома книги – и шли вдоль канала к Спасу на Крови, сворачивали в Михайловский сад, оттуда выходили на Садовую – как раз напротив замка, где Анечка, наверное, в силу своей профессиональной привычки каждый раз непременно показывала мне окна спальни Павла, и я, стараясь опередить ее, со смехом вскрикивал, что уже знаю, знаю, там его убили... и дальше, у *вазы порфирной* мы обходили пруд слева и шли в сторону Невы вдоль Лебяжьей канавки. Там после долгого молчания и вскрикнула: «Неужели ты сможешь...»

Она понимала, почему я *отсюда* решил уехать, и больше мы не касались этой темы.

«Спасибо за книгу», – она все время смотрела в сторону или просто под ноги, в снег. Я принес ей на прощание «Петербург» Андрея Белого, который она еще не читала, и открыл заложенную страницу.

Хмурился Летний сад.

Летние статуи поукрывались под досками; серые доски являли в длину свою поставленный гроб...

Николай Аполлонович, надушенный и начисто выбритый, пробирался по мерзлой дорожке, запахнувшись в шинель: голова его упала в меха, а глаза его как-то странно светились; только что он сегодня решил углубиться в работу, как ему принес посыльный записочку; неизвестный почерк ему назначал свидание в Летнем саду...

Ты слышала, что во Франции придумали: собираются клонировать виноградную лозу. Мало им козы – или кого раньше клонировали? Теперь генная инженерия на виноград нацелилась; обещают, что от вредителей он будет защищен и свойства свои в полноте сохранит. Надо бы еще выпить, пока нам клонированного вина не подсунули. Пауза!

А знаешь, почему вино хранят в лежащем положении? Чтобы пробка намокала и тем самым препятствовала даже малейшему проникновению воздуха. Это уже потом воздух важен – для ощущения аромата и вкуса. В плохо закупоренной бутылке он только убивает вино... Ах, тебе это неинтересно. Как всякому существу женского пола, тебе интереснее узнать, что там у меня с Анечкой было. Какой она была?

Ничего особенного... Девушка как девушка, невысокая, кареглазая, волосы очень красивые – густые, шатенка. Кость у нее была тонкая, и это придавало ее фигурке впечатление хрупкости. Но не худобы – Анечка была удивительно пропорционально сложена, я бы даже сказал – изящна. И говорила легко, непринужденно, смеялась звонко. Редко бывала в плохом настроении, любила подтрунивать надо мной. Сейчас мне кажется, что я никогда не разговаривал с ней в том спокойном тоне, какой привычен для часто встречающихся людей. Я всегда *спешил* что-то рассказать – увиденное, услышанное, прочитанное. Или доказать, или обрадовать, удивить. «Вчера, – кричу ей в трубку, – не поверишь, на Желябова в “Рапсодии” без очереди взял Баршая – “Времена года”, две пластинки! Для тебя и для меня!» Мне и сейчас легко представить, как на том конце провода Анечка недоверчиво посмеивается: «Ну, этого просто не может быть...»

Еще студенткой филфака она стала подрабатывать экскурсиями, и потом, после окончания университета, не захотела бросить эту работу. Родители расстраивались: аспирантура, научная или преподавательская карьера – все двери перед ней открыты их связями и положением, а она в пыльных автобусах бисер мечет... Это, кстати говоря, буквальное выражение ее мамы, Маргариты Павловны.

Анечка переживала, ее вообще задевало, что отношение к краеведению в научных кругах было по большей части снисходительное. «Сейчас в краеведении подвизаются любители и дилетанты, это так, – почему-то виновато поясняла она мне, – но вспомни Гревса, Анциферова, Яцевича! Они-то ведь были великими культурологами и отводили экскурсии важную роль». Иногда она словно спорила при мне со своими невидимыми оппонентами, и это были те редкие случаи, когда у нее появлялись пафосные интонации Маргариты Павловны: «То, что дает посещение исторических мест, никогда не возместится простым чтением источников, как никогда не даст ощущения вкуса написанная в учебнике формула H_2O . Это явление называется *властью места*, его великой силой, открывающей путь к постижению образа события. Образа, духа!.. Анциферов писал о *душе* Петербурга... Как ты думаешь, можно ее почувствовать, не побывав в этом городе?»

Мы могли с ней часами бродить по Ленинграду: Петроградская сторона, Аптекарский и Каменный острова, набережные Мойки и Фонтанки, Васильевский... – все нами было по многу раз исхожено за те три года. Для Анечки это была родная стихия. Нет, она не рассказывала мне про каждый дом или улицу. Или рассказывала, но не всегда, чаще экспромтом касалась чего-нибудь или отвечала на мои вопросы. Мы могли говорить о музыке, театре или просто о себе и своих друзьях, но никогда не теряли ощущения, что движемся в наплостовании культурных слоев, топографическими координатами которых становился дом старухи-процентщицы или Елагин дворец, кондитерская Вольфа и Беранже или кронверк Петропавловки.

Несколько раз мы ходили искать здания, которые Анечке нужны были для разработки новой экскурсии. Помню, как подолгу бродили по ее будущему гоголевскому маршруту. Частично он должен был проходить между Мойкой и Екатерининским каналом – по Вознесенскому проспекту и прилегающим улицам и переулкам, где среди мелких чиновников, модисток, купцов, кухарок и портных Гоголь прожил несколько лет. Сам он называл эти кварталы улицами «мещанских и мелочных лавок, немцев-ремесленников и чухонских нимф». «Где-то там, – показывала Анечка в сторону Вознесенского моста, – жил цирюльник Иван Яковлевич, бривший по утрам несчастного “майора Ковалева”, а на мосту сидела торговка очищенными апельсинами. Это про нее говорил Ковалев, что она могла бы тут и без носа посидеть, ей это ничего, а ему это совсем не к лицу». Вечерами, дома, я перечитывал повести Гоголя и заново узнавал места, где, заинтригованный тайной переписки собак, бродил в раздумьях чиновник Поприщин, где из всех мелочных лавок несло кислой капустой и подлые ремесленники напускали в мастерских столько дыму и копоти, что тому же Поприщину или Ковалеву – особам «благородным» – там решительно невозможно было прогуливаться, где жили Шиллер и Гофман – да всем не те, что известны своими сочинениями, а знаменитые в своей округе мастера, один жестяных дел, другой сапожных. Мы снова шли с Анечкой по этим улицам, и она показывала мне, как пересекаются здесь пути гоголевских персонажей и героев «Преступления и наказания».

Надо ли говорить, что с самого начала я интересовался не столько городом, сколько Анечкой? Просто город всегда оказывался рядом, она не расставалась с ним. И за это я ей тоже благодарен. За прошедшие двадцать с лишним лет я, может быть, ни разу не вспомнил и не представил Анечку вне питерского пейзажа. Это мог быть весенний Павловск или белый от снега и инея Кировский проспект, душный Невский с плавящимся асфальтом... Ах, все это не так просто... и про го-

род тоже... Не знаю, смогу ли тебе объяснить, но... но сейчас, кажется, нужно вернуться к вину...

Мои друзья считали Анечку инфантильной. Как это лучше выразить? Нецелованная в свои двадцать три года скромница среди замужних или уже разведенных подруг. Я не прислушивался к этим мнениям. Но... В те немногие разы, когда мне удавалось ее обнять, она всегда сжималась в комок. Упустив возможность избежать моих объятий, она замирала, словно напуганный птенец. Ни одного ответного движения, никаких эмоций; робость, затаенное дыхание и напряженное ожидание того мига, когда снова будет свободна...

Мы стоим на Зимней канавке, как раз посередине; она ведь не длинная, эта канавка, и с одной стороны можно видеть плавный гранитный изгиб Мойки, а с другой – в арочной рамке эрмитажного перехода – Неву и крепость. Хмурое осеннее небо, ветрено. Если бы ты могла видеть Петербург в эту пору! Особенно в тот час, когда только начинается смеркаться, когда... Как там у Гоголя...

как только сумерки упадут на дома и улицы и будочник, накрывшись рогожею, вскарабкается на лестницу зажигать фонарь...

Клочковатое небо, проглядывающее из-за серых и темных туч, начинает терять свою прозрачность. Тени растворяются на тротуарах – дневные уже исчезли, а миг появления вечерних еще не наступил. Вода в канавке только что переливалась серебристым оттенком – и вот уже приобретает сумрачную свинцовую окраску.

Набережная пуста, вокруг тихо, и только за углом на бывшей Миллионной слышится легкий шум, почему-то вызывающий тревогу. Что это?

...дрожек отдаленный стук
С Мильонной раздавался вдруг...

Не Анечку ли в компании с молодым офицером-преображенцем уносят от меня те дрожки?

Анечка смеется, она стоит рядом и продолжает рассказывать какую-то забавную домашнюю историю. Я беру ее за руку, чуть притягиваю, тянусь губами к ее лицу. «Пойдем, – мягко освобождаясь, произносит она, – темнеет и прохладно...» Забавная история не имеет продолжения – Анечка угрюмо молчит, мы снова коснулись того, что мгновенно разрушает нашу дружескую идиллию. Молчаливо переходим Певческий мост, вдоль Мойки выходим к шумному Невскому, а я все еще слышу за спиной легкое постукивание колес по торцовой мостовой...

Как ты думаешь, почему мы все время по городу бродили? Ну, не каждый, разумеется, день, но раза два в неделю встречались непременно: в один из выходных почти всегда и иногда вечером в будни, после работы. Если было холодно, сидели в кафе, потом проходили немного пешком или проезжали пару остановок и снова укрывались в какой-нибудь кофейне – «Маленький двойник, пожалуйста. Две чашки». Говорили обо всем, обменивались книгами, пластинками... А домой друг к другу заходили редко. Думаю, тебе понятно – почему. Та история на Зимней канавке объясняет все... Так что, милая моя, город, по которому три года бродил я с Анечкой, был моим утешением и моим проклятием: без него у меня не было бы той девушки, которую я любил, но он оказался и тем третьим лишним, от которого невозможно было избавиться. Со временем он стал моей мучительной ношей, тяжелым сном...

Все, не надо больше ничего говорить. Я тебе сейчас стих прочитаю.

Мне холодно. Прозрачная весна
В зеленый пух Петрополь одевает,
Но, как медуза, невская волна

Мне отвращенье легкое внушает.
 По набережной северной реки
 Автомобилей мчатся светляки,
 Летят стрекозы и жуки стальные,
 Мерцают звезд булавки золотые,
 Но никакие звезды не убьют
 Морской воды тяжелый изумруд.

Все, не надо слов. За Мандельштама!

Анечка с удовольствием приглашала меня в компанию своих друзей или шла со мной в гости к моим знакомым, но и это продолжалось недолго. Тут уж я сам принял твердое решение никуда с ней не ходить. Не хотелось выглядеть смешным... Особенно после того, как одна из ее подруг, подняв за столом тост «За любовь!» и чокаясь со мной, добавила с улыбочкой, громко: «Ну, если у девушки нет возлюбленного, то должен быть хотя бы паж». Паж! Что она понимала, эта подружка!? А мои друзья? Были ли они лучше, когда сочувственно спрашивали меня: «Ну, что там у вас? Все еще ничего?»

Пару раз я ужинал у ее родителей. Но и там меня не воспринимали всерьез – не столько потому, что успели понять, что для Анечки я всего лишь друг и таковым, по-видимому, и останусь – с этим-то Маргарита Павловна могла бы при желании и побороться, но и она не видела во мне достойного ее дочери жениха. И вправду – что там за инженеришка-конструктор из захудалого КБ. Впрочем, Маргарита Павловна в любой ситуации умела оставаться женщиной светской: «У вас еще все впереди, прорветесь в аспирантуру, не всю же жизнь у кульмана корпеть... А эти эклеры из “Норда“, да вы берите... не стесняйтесь...» Будто я стеснялся... Но повторяла это не раз – дистанцию обозначала. «Норд» произносила немного в нос, но я не знаю, что меня больше раздражало: все эти ее «Метропо-оли» и «Англете-эры» – или с легким дребезжанием голоса отчужденные «ученый совет», «бюро обкома», «президиум», «комиссия»... Даже при обращении к дочери и к менее преуспевавшему в карьере мужу все эти слова произносились так, что становилось понятно: на Олимпе восседают избранные. Жалею, что ни разу не спросил ее, что именно она так изысканно «Нордом» называла, не кафе ли «Север»?..

Яичница распласталась рыхлым блином по тарелке, я макал в ее желтый глаз ломтики булки. Анечка улыбалась: «Вкусно?» Она совсем не умела готовить и считала свой экспромт чуть ли не верхом кулинарного искусства. «Тебе бы в “Метрополь“ поваром устроиться...» – отшучивался я. Вкусно ли? Я был на вершине блаженства. Представь себе: она приготовила для меня яичницу – из двух яиц, выбрала тарелку – кажется, с каемочкой, минуты три искала чистую вилку, поинтересовалась, нужно ли мне масло для булки, а увидев в холодильнике соленые огурчики, тут же предложила мне один и, наконец, села напротив с веселым и заботливым взглядом и спросила: «Вкусно?» Этакая маленькая домашняя идиллия – впервые. В четыре часа утра! Да-да – было не меньше четырех утра, и за окном – июнь и белые ночи. Ха, ты подумала, что на этот раз мы сумели-таки избавиться от нашего компаньона – третьего лишнего. Ничуть! Во-первых, до этого мы долго гуляли, как не трудно догадаться, по ночному городу, а во-вторых, с нами сидела Лена – Анечкина приятельница, в ее квартире все это и происходило.

Как – откуда она взялась? Из нашей истории и взялась: с нами же обязательно должен быть кто-то третий. Если понадобится, он и из пустоты возникнет... Раньше я никогда Лену не видел. Помню только, что Анечка называла ее давнишней знакомой – жили они, вроде, в детстве в одном дворе – и озабоченно добавляла, что

ее мужа-инженера призвали в армию, а она не захотела с ним поехать и вдруг загуляла, и на каждом шагу ему *изменяет* (это слово Анечка произносила шепотом и с ужасно расстроенным выражением лица). Кажется, она была симпатичная — эта Лена, но я не разглядывал особенно. Ходит себе рядом, и пусть, раз Анечка ее с нами позвала. Если бы она еще и не ныла на каждом шагу. То ей облачность большой кажется, то прохладно ей... Мы переглядывались с Анечкой — нас не смущали облака, и ночь казалась теплой... Мы гуляли с одиннадцати вечера, сначала на Дворцовой набережной, потом, в последний момент перед разводкой мостов, перебрались на Васильевский, со Стрелки смотрели, как медленно поднимается тяжелый пролет Кировского моста и как потом пошли вверх оба крыла Дворцового. Наконец, появились первые баржи, и мы пошли за ними по набережной в сторону моста Лейтенанта Шмидта. Кто-то еще сказал тогда, что мы сопровождаем корабли, как дельфины в море... Ну хорошо, не буду лукавить — это я сказал. Сейчас это смешным может показаться, но тогда меня немного укачивало от мысли, что мы с Анечкой наконец-то оказались впервые вместе ночью, пусть на улице, пусть в компании подруги, гуляющей публички, тех же зданий, реки и набережных, но все равно — впервые так... Я шутил, смеялся, сыпал банальными репликами, а у сфинксов напротив Академии художеств, к собственному моему удивлению, стал подпевать двум подросткам, с остервенением терзавшим гитары.

Там, в городе, легкое нытье Анечкиной приятельницы немного мешало нам обоим, здесь же, в собственной квартире Лены, ее присутствие начинало уже раздражать; но, разумеется, только меня.

Они оставили меня доедать яичницу и пошли в другую комнату укладываться спать. Некоторое время в коридоре еще раздавался шум, слышны были голоса, потом стало тихо. Затем снова послышались шаги — в сторону ванной. Не было сомнений — они принадлежали Анечке. Я подождал немного и вышел из предоставленной мне комнатки в тот самый момент, когда она снова оказалась в коридоре. На ней был светлый халатик, чуть запахнутый. Я притянул ее крепко к себе и впервые встретил сопротивление. Раньше она всегда сжималась, как воробышек, и я отпускал ее. А тут почти сразу уперлась в меня обеими руками. И от этого резкого движения халатик ее распахнулся... «С ума сошел», — тихо прошипела она и ударила меня кулачком по плечу. «Давно сошел», — почти выкрикнул я, опустив руки.

Проснулся через три часа. Хлопнула входная дверь, и я сразу понял — Анечка ушла. Ну да, она ведь говорила, что уйдет рано, ей чуть ли не в восемь нужно забирать группу туристов у речного вокзала. Я вспомнил, как распахнулся халатик — там, в коридоре. И ее шипящий тихий вскрик: «с ума сошел»... Короткую ночь разделяла нас тонкая перегородка. Впервые так близко... Она спала там — наверное, подперев щеку кулачком, которым ударила меня. Сладко потягивалась? Легко дышала? И проснулась от звонка будильника, а не от моего поцелуя. А если бы проснулась от моего поцелуя, то снова бы ударила меня?

Я встал со своего диванчика и вышел в коридор. Дверь во вторую комнату оказалась открыта, и я увидел Лену — спящую с чуть приоткрытым ртом. Она лежала на боку под тонким летним одеялом, чуть поджав под себя ноги...

Я сам рассказал Анечке обо всем, что случилось дальше. «Этого не может быть», — она смотрела на меня оторопело, и я ждал, что сейчас ее кулачки сожмутся и снова упадут на мои плечи. Нет, руки ее безвольно висели вдоль тела. «Этого не может быть! — повторила она. — Ты не мог этого сделать!» — «Я ничего и не сделал, она меня оттолкнула, я оделся и ушел». — «Сделал!» — почти гневно вскрикнула Анечка, резко повернулась на своих каблучках и исчезла в толпе.

Пауза. Будем смотреться в вино, как в зеркало — время от времени. Или ты не согласна с Данте? Как — при чем тут Данте? Разве не он говорил, что с начала

творения именно вину дана та сила, которая призвана делать светлее тенистую дорогу истины? Помолчим...

Видела? Пока я тебе про Данте втолковывал, машинально выпил все залпом. Фу! Все опошил – ни аромата, ни вкуса... Придется повторить, извини...

Она не подходила к телефону. Маргарита Павловна всякий раз озабоченным тоном сообщала, что Анечки нет дома, что у нее сейчас друзья и неловко ее отвлекать, что она готовит новую экскурсию и очень занята, и лучше позвонить в другой раз, может, недели через две-три, что Анечка недавно пришла, но с головной болью, и потому прилегла отдохнуть... Я даже проявил малодушие: услышав по радио, что Маргарита Павловна избрана делегатом очередного съезда партии, тут же позвонил, чтобы ее поздравить. И если бы она в тот момент вдруг пригласила меня зайти («у нас как раз свежие эклеры из “Норда”, и Анечка вам будет рада»), я бы тотчас простил ей всю ее обывательскую спесь. Но она лишь сухо поблагодарила и быстро попрощалась. Потом к телефону перестали подходить вообще, и только позже я узнал, что Анечка с родителями уезжала на месяц в Юрмалу...

Это нетрудно себе представить: встречаешься с девушкой, и кто-то третий, вольно или невольно, с вами все время рядом. Потом девушка уходит, и ты остаешься с тем третьим один на один. И начинает казаться, что он – единственный, кто способен понять тебя, кто по меньшей мере терпим к твоему нескончаемому монологу о ней, готов переносить твой горячий бред. Но вскоре замечаешь, что оказался в его власти – тебя непреодолимо тянет к нему, и сам он становится твоей мукой. И ты не знаешь, как от него избавиться... тем более, если этим третьим оказывается целый город – с реками, мостами, домами, людьми, деревьями, птицами, небом и ветром... Куда деваться, когда он по собственному своему капризу (не знаю, от чего это зависит – может быть, от погоды, цвета неба или сиюминутного оттенка воды в Неве) вдруг обращает свои прежние терпимость и участие в насмешку, а то и хлестко ударяет по твоему маленькому, уязвленному несчастной любовью «я». Таков он и есть, этот Питер.

Я ходил по его улицам и каналам, кружил по тем же местам, где бывали мы с Анечкой. Смаковал воспоминания... Вот тут она проходила со мной – на маленьких каблучках, в длинном зеленоватом плаще, перехваченном пояском на тонкой талии. В той подворотне прятались мы от июльского ливня в прошлом году. Там слепила снежок и звонко смеялась... Знаешь, как это у Аненнского...

Желтый пар петербургской зимы,
Желтый снег, облипающий плиты...
Я не знаю, где вы и где мы,
Только знаю, что крепко мы слиты...

И последние строфы, особенно безнадежные и безжалостные:

Ни кремлей, ни чудес, ни святынь,
Ни миражей, ни слез, ни улыбки...
Только камни из мерзлых пустынь
Да сознание проклятой ошибки.

Даже в мае, когда разлиты
Белой ночи над волнами тени,
Там не чары весенней мечты,
Там отравы бесплодных хотений.

Все в этом городе невольно примерялось и оказывалось впору моему страданию. И я думал, что только тогда оно кончится и восстановится прежнее равновесие в моих отношениях с городом, когда я снова встречу ее здесь, на его улицах.

Вечерами безуспешно обходил я читальные залы Публички, в которой прежде она иногда пропадала часами. В обеденный перерыв мчался к станции метро «Горьковская» – в надежде увидеть ее проезжающей мимо в автобусе; в это время она могла возвращаться по Кировскому проспекту со своими туристами с места дуэли Пушкина или с Пискаревского кладбища. Всякий раз постигала меня неудача. Иногда в толпе на Невском вдруг мелькала похожая фигурка, и я глупо ускорял шаги... Ускорял, чтобы лишний раз удостовериться, как прав был Гоголь, призывавший не доверять этому проспекту, *где все обман, все мечта, все не то, чем кажется*. Ах, если бы только Невский причинял мне столько страданий! Куда бы я ни направлялся, Питер играл со мной на каждом шагу: внушал надежду и тотчас ее отнимал, дразнил эхом ее каблучков, легкого смеха, отражением миниатюрной фигурки в водных зеркалах и даже вывесками, в которых так часто встречались буквы ее имени... А-не-ч-ка... Проклятый город! Он многих мучил, и Пушкину тоже досталось.

Свод небес зелено-бледный,
Скука, холод и гранит...

И дальше, опять же почти про меня:

Все же мне вас жаль немножко,
Потому что здесь порой
Ходит маленькая ножка,
Вьется локон золотой.

Кошмар продолжался все лето. В конце сентября я встретил ее – случайно на улице. Ждал именно такой встречи, надеялся увидеть печальной, бредущей в одиночестве по тем местам, где ходили мы вдвоем. Но нет... Начнем с того, что она не шла, а стояла. Стояла как раз там, где мы обычно встречались – на мосту у Дома книги, в двух шагах от входа в метро. И совсем не выглядела печальной. Она оживленно болтала с каким-то самодовольным пижоном. Не останавливаясь, обходил я их стороной и уже готов был отвести взгляд, как она заметила меня. Рука ее дернулась, будто хотела поприветствовать. Я промямлил «здрав...», чуть мотнул головой и пошел дальше. Кажется, я собирался войти в метро, но оказалось, что нет никакой возможности свернуть куда-нибудь или остановиться. Я мог действовать только по инерции – идти, как шел прежде, в том же направлении... Теперь я уже никого не видел вокруг. И лишь в какой-то момент показалось, что во встречной толпе мелькнуло лицо Маргариты Павловны. Кажется, она насмешливо поглядела на меня и, довольная, прошла мимо. На смену инженеринскому конструктору в задрипанном свитере, наконец-то, в их дом пришел достойный Анечки молодой человек – в костюме с галстуком и в хорошо отглаженной рубашке, «из хорошей семьи», хоть сейчас его на ученый совет, а потом в ЗАГС... Пришел и стоит теперь на моем месте – там, у Дома книги, на мосту. Неужели у нее не хватило такта, жалости, наконец, ко мне, чтобы избрать другое место для своих свиданий!? А-не-ч-ка... Теперь он смотрит в ее глаза, обнимает ее и, может быть, она уже не сжимается, как прежде, воробышком...

На Аничковом мосту (вот уж поистине несчастное созвучие с ее именем) пришлось все-таки остановиться. Песчинка или еще какая дрянь, поднятая ветром с широкого тротуара, попала в глаз...

А ты что подумала? Ну не мог же я сам по себе расплакаться – мужик в тридцатилетнем возрасте. Но эта маленькая провокация осеннего ветра сделала свое паршивое дело. Пришлось отвернуться от прохожих, уставиться в Фонтанку и укороткой вытирать глаза. Гранитные бока реки были влажными, как мои веки. Почему-то именно эта незатейливая ассоциация вызвала в гудящей голове неожиданную, но достаточно ясную мысль: я не могу больше жить в этом *сером* городе. Да, да – сером! Я вдруг понял, что это преобладающий его цвет: серый или даже грязно-серый; это цвет его набережных, решеток, неба, мостовых опор, фонарных столбов и тех, прежде радовавших глаз, колесоотбойных столбиков, сохранившихся у многих подворотен со времен экипажей и карет, это цвет отвратительного современного асфальта, выщербленной штукатурки старых домов на Васильевском, Петроградской, в Песках, цвет бесконечно тянущихся бетонных фасадов новостроек... Какой-нибудь зеленый Зимний или желтый Сенат – всего лишь пестрые заплатки на этом унылом, продуваемом ветром городском пейзаже. И вода вокруг не легкая и прозрачная, а темная, давящая...

Слезы и головокружение сделали свое дело – я еще больше ослабел, стал безвольным и почти невесомым. И потому совсем не удивился, когда новый порыв ветра подхватил меня, словно опавший осенний лист, и легко понес вверх. Хватило сил лишь слабо выкрикнуть: «Осторожно, листопад!..»

И знаешь, что я увидел сверху, когда открылся этот огромный, распластанный город, ставший на пути горделивой реки? Подо мной была извилистая нельская дельта, только теперь она походила на гигантского спрута, цепко обхватившего мокрыми щупальцами холодные кварталы.

Может быть, в эту отвратительную рожу и плюнул в свое время Есенин с Симеоновского моста, а вовсе не из озорства или недовольства собой?..

Где они – исхоженные Мойка, Фонтанка, Пряжка?.. Я видел внизу мерзкие шевелящиеся отростки – длинные и короткие, плавно изгибающиеся и ломаные... И счет шел не на единицы, а на десятки... Горожане с ними испокон веку боролись, и многие были уже давно ими обрублены, засыпаны и похоронены навсегда, оставшиеся зажаты гранитным камнем, но Неве и это оказалось нипочем: что ей мелкая суета смертных, если она поставлена здесь выполнять свою работу перед лицом вечности?

Куда подевалась праздничность, воспетая легкость Петербурга? Почему в последние месяцы он всей тяжестью своего мокрого гранита ложился на мои плечи?

Ветер кружил меня над жилыми кварталами, а потом резко потянул в сторону Финского залива, и вскоре все, что составляло для меня этот город, – реки и каналы, Медный всадник и Исаакий, мосты и Петропавловская крепость, Анечка, мои родители, друзья... – все стало сливаться в единое темное пятно. Оно резко уменьшалось в размерах, пока не превратилось в крохотную точку. Впереди была видна только темная полоса горизонта, за которой прятались развенчанные некогда поэтом Батюшковым и недосыгаемые для меня «ветхий Париж» и «закопченный Лондон»...

Когда я немного пришел в себя, понял, что стою на том же месте, судорожно вцепившись руками в решетку. Я попробовал было обернуться, в надежде рассмотреть в начале Невского легкий шпиль с золоченым корабликом, но тотчас уперся взглядом в клодтовских коней, которые угрожающе нависали надо мной своими тяжелыми копытами.

Ладно, ладно... ты скажешь, что нытье – удел неврастеников и несчастных влюбленных. Ты мне еще Гюго процитируй – о том, что меланхолия – есть наслаждение чувствовать себя достойным жалости. Может, и так... Но тебе просто незнаком тот город. А я скажу: в нем очень страшно оказаться вдруг одиноким и ненужным. Нева со своими подручными-щупальцами расправляется с такими потерян-

ными фигурками быстро и безжалостно: с одного шинель на ходу сорвет, другого разума лишит.

Хотел ли я повторять судьбу Акакия Акакиевича или несчастного Поприщина? Нет. Там, на Аничковом мосту, я принял решение.

Я закрыл глаза и перегнулся через решетку. Нервный озноб еще не оставил мое тело, но голова становилась все более ясной, и все более прочным представлялось мне только что созревшее намерение. Я открыл глаза и плюнул в воду.

Теперь я твердо знал, что уеду отсюда...

И что ты думаешь? Она позвонила мне – в тот же вечер! Как ни в чем не бывало спрашивает, почему мимо прошел. Что я отвечу? Мешать не хотел, ворковали себе, и ладно... А она удивленно: «Ворковали? С Максимом?»

С Максимом... Ну конечно же: у него должно быть именно такое имя... Костюм, галстук... Макс... Белая рубашка... Родители «с положением» в обществе... Макс... Норд... Папины «Жигули»... Макс... А кто там мимо прошел? Так это Гриша, мой знакомый, он из конструкторского бюро...

Я молчал в трубку. И Анечка замолчала, и мне показалось, что ей грустно. А потом она сказала: «Я его видела, наверное, всего второй раз». – «Ну уж...» – «Это Дмитрия Сергеевича аспирант, мы по делу встречались». – «И многие у тебя по делу Дмитрия Сергеевича проходят?» Странно, что она не положила трубку. Напротив – неожиданно хихикнула: «Гришка, а все-таки ты дурак».

Максим оказался аспирантом академика Лихачева, женатым, у него болел ребенок, и Маргарита Павловна, благодаря своим обкомовским связям, достала какие-то редкие лекарства, которые Анечка и передавала ему возле Дома книги.

Трагедия при ближайшем рассмотрении оказалась мелодрамой. Не Максима и не его больного ребенка имею в виду, а себя. Ни серый гранит и водная стихия, ни ветер и никакие случайные песчинки не были виноваты во всем том, что пережил я на Невском и Аничковом мосту. Адмиралтейская игла оставалась символом *строгого, стройного* Петербурга, а буйных клодтовских коней крепко сдерживали музыкальные красавцы, вспомнив которых, я снова свято уверовал в превосходство человека над стихией.

Одним словом, я легко поддался утешению. Особенно после примирительной фразы, намекающей на разлучившую нас на целых три месяца историю. Анечка произнесла ее с легкой усмешкой: «Все мужчины подлецы, я это слышала. Особенно блондины». Я был прощен.

Мы снова стали встречаться.

А дальше... Дальше – ничего интересного.

Если у девушки нет возлюбленного, то должен быть хотя бы паж... Пили кофе («Маленький двойной, пожалуйста. Две чашки»), обменивались книгами, бродили по городу, время от времени она сжималась воробышком, и тогда раздавалось неизменное: «Гриша, не надо, пойдем, уже поздно...» Все как и раньше. Только в этом нашем втором круге не было прежней непринужденности, свежести и неизведанности... Все вдруг несколько поблекло. И город стал таким же – не друг и не враг...

Я начал потихоньку собирать документы на выезд по израильской визе. Анечке до последнего момента ничего не говорил.

Что с ней дальше стало? А разве я не сказал? За Генку замуж вышла. Генкины-то родители давно этого хотели. Сам он большого интереса к Анечке не проявлял. Приезжал в Питер, мы встречались втроем. Про мои чувства он знал все. Тут и рассказывать нечего было – видел. Про себя ничего не говорил. Может, прикидывал что-то? А потом, уже после моего отъезда, раз – и женился. Ну а как же иначе? Он и раньше был уверен, что престижная служба и жена «из хорошей

семьи» ему обеспечены – семейные традиции, так сказать, клановость. Диссертация защищена, карьера, стараниями родителей, уже обозначена, вешки расставлены. Ему тридцать, Анечке двадцать семь – время уходит!.. Свадьбу в двух городах праздновали: в Ленинграде, потом в Москве.

Сейчас их сыну уже за двадцать... Анечка – доцент, экскурсионная работа давно оставлена ради восхождения на научный Олимп. Теперь она Анна Эдуардовна, Анечкой ее никто уже не называет.

«Добрый день, Анна Эдуардовна!»

«С интересом ознакомился с вашей последней публикацией, Анна Эдуардовна.»

«Слово предоставляется уважаемой Анне Эдуардовне...»

Генка фотографию показывал, я смотрел и не понимал: она и не она... Глаза те же, волосы такие же красивые, но как-то многое вдруг от Маргариты Павловны проявилось... И все же казалось, вот сейчас она чуть-чуть повернется, встряхнет головой, стрельнет своими карими глазами и скажет знакомым голосом: «Гришка, а все-таки ты дурак».

Я сейчас и вправду глупость скажу, но ты не смейся... Иногда я думаю, что если бы у Анечки родилась дочь, она была бы сейчас на ту девушку, которую я знал, очень похожа. И какой-нибудь напоминающий меня молодой человек ее бы встретил и обязательно полюбил. И может быть, на этот раз все было бы по-другому...

Но у нее сынок, и он бунтует. Анечка его в аспирантуру тянет, а он от отца требует, чтобы тот его в городскую администрацию пристроил. Новая генерация на подиуме нашего старого, классического Петербурга...

Ты знаешь... Когда мы с ней прощались, там, в Летнем саду, все статуи в деревянные ящики были зашиты. И, как сказал поэт, «серые доски являли в длину свою поставленный гроб...»

Я тебе теперь по большому секрету скажу: я в одном из этих гробов остался и до сих пор там стою, вместо статуи...

Потерявшаяся душа...

Публика не замечает, а умные собаки чувят – постоят рядом, посылает сочувственно и дальше за хозяевами плетутся...

Ну вот... последний бокал... и больше ни-ни... Хочу только за моих четвероногих друзей выпить. Не возражаешь?

А тут еще Павел убиенный стал сниться... Будто забегает ночами в Летний сад меня проведать. Скучно ему столетиями по Михайловскому замку мыкаться, да и сыро там. Вот и повадился, как стемнеет, на Марсово поле к вечному огню – косточки погреть, а потом ко мне – поболтать о том о сем. «Россию, – говорит, – любить надобно...» – «Вы это уже Достоевскому внушали», – напоминаю ему. «И что он? Кто таков? Из преображенцев?» Постарел, забывчив стал и поворчать любит. «Сколько, – спрашивает, – ночному сторожу за место приплачиваете? Мои-то соколики-секьюрити, которых в замке понаставили, не по чину стали требовать – валютой...»

Я ему про Анечку, а он только отмахивается: «Ах, вы не знали фрейлины Нелидовой! Что ваша Анечка – простушка... Вы уж не обижайтесь, любезный... Да и худая она, судя по вашим описаниям, как посудомойка... А у Нелидовой – формы пышные, осанка герцогини... И внутри... лед и пламень! Много мне через это пришлось страдания перенести...» Утрит батистовым платком слезу и исчезнет. Бросит только на прощание: «Небось по городу бродите, ищите ее, думаете о ней? Знаем мы эту болезнь: неВСкий сплин называется...»

А то однажды огляделся боязливо по сторонам и шепчет: «Ах, любезнейший, как верно вы поступили, что уехали отсюда. Здешний климат и этот город слишком губительны для человека с раненой душой... Я вот вам по секрету прочту, крамольное...» И достает бумажечку потертую – из-за пазухи.

Рим создан человеческой рукой,
Венеция богами создана,
Но каждый согласился бы со мной,
Что Петербург построил сатана!

«Сочинителя... запаматовал, как его фамилия...» — «Мицкевич». — «Вот-вот... слышали, значит... Следовало бы в крепость этого Мицкевича, под замки да в колодки. За пращура... Но ведь и правда в тех словах кроется — не про Петра, а про Санкт-Петербург...» И кулаком сухим в небо стал грозить: «А все он виноват — климат этот... И Нева... Державой себя возомнила... Еще при основателе против столицы бунтовать начала. Петру-то оно и по душе и по силам было — стихию вождкой одергивать... Но знаете, Гришенька, с ним ведь и кончилось дикое и мужественное русское Средневековье... А нам... Это Пушкин правильно про нас сказал: *“С божией стихией царям не совладеть...”* Мы дети куртуазного восемнадцатого столетия — парики, жабо, приемы, интрижки...» И платок батистовый снова из кармана достает: «Нам бы с фрейлиной Нелидовой как-нибудь сладить... Так как, говорите, вашу барышню зовут?.. И что — хорошенькая?..» Такой вот любопытный тип.

Как-то цитировал ему Блока *«О город мой неуловимый, / Зачем над бездной ты возник?..»*, а он с грустью в голосе прерывает меня: «А помните, в *“Снежной деве”*: *сфинкс с выщербленным ликом над исполинской рекой...?* И рукой вдруг резко в темноту в сторону Невы махнул: «Ах, разве это не так? Разве она не держава? Я, признаться, частенько на рассвете этим чудом любуюсь: город-сфинкс, поднявшийся над гладью рек и каналов... И много думаю об этом. Ведь Санкт-Петербург далеко не всех счастливыми оставляет. Он для одержимых строился — таких, как пращур. Еще тщеславные, как моя матушка, в нем вольготно себя чувствовали, да купечество, заводчики, штольцы... Но для души впечатлительной, ранимой или склонной к рефлексии Петрополь — вечное страдание и погибель... И вас, Гришенька, наверно, уже не отпустит этот захватывающий воображение мираж... А как же без него и куда без него? Поверьте старика: в нем уже растворилась ваша жизнь и, если хотите, ваша судьба со всеми очарованиями, сомнениями, надеждами и любовью...»

О-о... что-то мы с тобой сегодня заболтались... И полосочку, за которой латинские буквы *f* и *v* местами начинают меняться, не за-ме-ти-ли. А все потому, что ничего я не понимаю в вине. Кто понимает, всегда сможет вовремя остановиться. Нужно уметь правильно расслабляться... Как это мы с тобой назвали? А! Медитация с мотивом виноградной лозы. И не болтать. И не распускать слюни... Нужно быть одержимым, как Петр, или чванливым, как Маргарита Павловна... И знать толк в вине. Вот Генка — он знает. Я тебе рассказывал, как мы с ним в итальянский ресторан ходили? Ну и что, что повторяюсь? Какая тебе разница, если ты все равно весь вечер проспала...

Он протянул руку к лежавшей у его ног мохнатой дворняжке, легко коснулся ее глядящим движением и медленно поднялся из кресла. Чуть качнувшись на ходу, дернул шнурок торшера и направился в спальню. Некоторое время оттуда еще доносилось тихое ворчание: «Дрянное вино... дешевка за два с половиной... хорошим бы не напился... лоза, да не та... или уже клонировать успели? А почему бы и нет. Меня ведь клонировали — и ничего. Сюда копию послали, а оригинал там... в Летнем саду, у самой Невы... Только Питер им не клонировать... ни фига...»